PG3016
.I 9

Иванов-Разумник.

Русская литература XX века

(1890—1915 гг.).

ПЕТРОГРАД
изд-ское т-во
„КОЛОС".
1920.

КООПЕРАТИВНОЕ
КНИГОИЗД-СКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО
«К О Л О С»

PG3016
.I9

Иванов-Разумник.

RUSSKAIA LITERATURA XX VEKA

Русская литература XX века

(1890—1915 гг.)

ПЕТРОГРАД.
изд-ское т-во
„КОЛОС".

14-ая Государ. тип. Социалистическая, 14.

ОТ АВТОРА.

Давно уже была задумана мною обширная „*Критическая история современной литературы*“, но вряд-ли „задуманное“ это когда-нибудь окажется „завершенным“: бурным потоком несется жизнь, не до обширных „историй“ въ наши дни. Въ настоящей работе (она входит отдельной главой в 5-ое издание „Истории русской общественной мысли“, большая тема заключена в рамки небольшого очерка — в ущерб доказательности, но, надеюсь, не в ущерб определенности и ясности освещения вопроса о прошлых и будущих судьбах русской литературы века минувшего и века грядущего.

Иванов-Разумник.

Русская литература XX вѣка.

(1890—1915 г.г.).

I.

Если оглянуться на всю русскую литературу XIX вѣка, то распадется она на три явственныхъ періода, признаками дѣленія которыхъ будутъ два вѣчныхъ устремленія человѣческаго духа: „реализмъ“ и „романтизмъ“. Рубежемъ между ними является разложеніе художественнаго (и не только художественнаго) реализма, возрожденіе теоретическаго (и не только теоретическаго) романтизма въ русской литературѣ конца XIX вѣка.

Преддверьемъ къ XIX вѣку была внѣшняя и внутренняя реформа Карамзина; начало этого вѣка отмѣчается рубежомъ 1814 года, потрясеніемъ духовныхъ устоевъ русской интеллигенціи, идейными выводами „освободительной войны“. Зарождается декабризмъ; и около этого же времени впервые проникаютъ къ намъ „темные слухи о какомъ-то романтизмѣ“. Два пути намѣчаются передъ русской интеллигенціей. И въ эти же годы—первое появленіе юноши-Пушкина, именемъ котораго назовется ближайшій и блестящій періодъ русской литературы.

Нити до-пушкинскаго литературнаго развитія пересѣклись въ Пушкинѣ и связались въ крѣпкій узелъ, отъ котораго начались новые пути. „Романтизмъ“ той эпохи былъ не долговѣченъ; „любомудріе“ и шеллин-

гіанство двадцатыхъ годовъ изжили себя въ философскомъ романтизмѣ слѣдующаго десятилѣтія; художественный же романтизмъ той эпохи былъ только мнимый, наносный, неусвоенный; онъ возродился только полвѣка спустя, въ послѣднемъ десятилѣтіи девятнадцатаго вѣка.

Четверть вѣка (1815—1840 г.) завязывался крѣпкій узелъ новой русской литературы около Пушкина, и былъ этотъ узелъ тройной. Пушкинъ—реалистическій синтезъ всего прошлаго и знамя грядущаго полувѣка; глубочайшая *религія жизни* на основѣ реализма была въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ тѣмъ сѣменемъ, которое разрослось въ „Войну и миръ“ Толстого черезъ пятьдесятъ лѣтъ. Лермонтовъ—раздвоеніе мятущейся души и развернутое въ грядущее знамя *религіи бунта*; полвѣка спустя, мы увидѣли знамя это въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ Достоевскаго утвержденнымъ на небывалой творческой высотѣ. Гоголь—тяга къ мистикѣ реалистической души; послѣ „Мертвыхъ душъ“—*религія смерти*. Отъ этого тройного узла вширь и вглубь пошла русская литература послѣ 1840 года.

Въ этотъ годъ—убитъ Лермонтовъ; тремя годами ранѣе—смерть Пушкина; здѣсь-же—высшая точка пути Гоголя и духовная смерть его. Три смерти разсѣкли тройной узелъ русской литературы къ началу „эпохи Бѣлинскаго“, который сумѣлъ дать критическіе выводы и итоги реализма минувшей четверти вѣка.

Начался полувѣковой „пушкинскій періодъ“ русской литературы—и эти полвѣка (1840—1890) были свидѣтелями *побѣды реализма и разложенія его*. Если вглядѣться въ этотъ путь развитія русской мысли и литературы, то расцвѣтъ художественнаго реализма будетъ идти неуклонно вверхъ вплоть до Толстого. Сперва внѣшніе наслѣдники пушкино-гоголевскаго реализма—„натуральная школа“ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ; затѣмъ — знаменитые такъ - называемые „семь китовъ“ русской художественной литературы годовъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ: Тургеневъ, Гончаровъ, С. Аксаковъ, Писемскій, Островскій, Григоровичъ, Салтыковъ (одинъ изъ этихъ „китовъ“, Григоровичъ, оказался небольшой литературной рыбешкой). О Толстомъ и Достоевскомъ — рѣчь особая, но и безъ нихъ мы имѣемъ передъ собою къ семидесятымъ

годамъ вершины художественнаго реализма, при одновременномъ *разложеніи реализма теоретическаго.*

Русская литература прошла этотъ путь отъ Бѣлинскаго до „нигилизма“, скатилась по наклонной плоскости отъ Чернышевскаго черезъ Добролюбова къ Писареву, прошла мимо эпигоновъ теоретическаго реализма—Антоновича, Зайцева, Ткачева и др. Въ нигилизмѣ было *первое пораженіе демократіи—пораженіе идейное*; въ немъ было разложеніе теоретическаго реализма. Лишь народничество въ области соціально-политической мысли вывело русскую интеллигенцію изъ этого болота; но въ области мысли философской оно оказалось не на много сильнѣе своихъ предшественниковъ. Въ области художественной литературы оно поднялось выше, и кромѣ второстепенныхъ писателей (Левитовъ, Кущевскій, Новодворскій, Златовратскій и др.) дало такого подлиннаго художника, хотя и художника-публициста, какъ Гл. Успенскій.

Такъ или иначе—но къ семидесятымъ годамъ передъ нами вершины художественнаго реализма и развалины реализма философскаго. Такой подлинный художникъ, какъ Мельниковъ-Печерскій, является уже второстепеннымъ писателемъ своей эпохи; особнякомъ стоитъ Лѣсковъ, которому впослѣдствіи суждено будетъ стать истокомъ „новаго реализма“ въ началѣ новаго вѣка.

Такъ приходимъ мы къ вершинамъ русской литературы, къ Толстому и Достоевскому, за которыми—перевалъ, спускъ, а иногда и провалъ, срывъ. Толстой—вершина реализма, величайшій синтезъ всего „пушкинскаго періода“, новый узелъ дорогъ, отъ котораго начинаются новые пути; религія жизни отъ „Евгенія Онѣгина“ къ „Войнѣ и миру“—вся полувѣковая исторія литературы „пушкинскаго періода“. Достоевскій—величайшій синтезъ „гоголевскаго періода“; преодолѣнная религія смерти, преодолѣнная религія бунта. Толстой и Достоевскій—вершины реализма, глубины мистики, завершеніе стараго, начало новаго періода русской литературы.

Вершины, но за ними перевалъ, или провалъ; и то и другое случилось въ русской литературѣ и жизни восьмидесятыхъ годовъ. Здѣсь передъ нами *второе пораженіе демократіи—пораженіе общественное;* и вмѣстѣ съ этимъ—здѣсь передъ нами второе разло-

женіе реализма. Первое было, когда философскій реализмъ перешелъ въ нигилизмъ: это было разложеніе реализма теоретическаго; теперь художественный реализмъ сталъ переходить въ натурализмъ, и это стало *разложеніемъ реализма художественнаго*. Беллетристика Эртеля, Альбова, Терпигорева, Мамина-Сибиряка, несмотря на отдѣльныя удачныя достиженія, все дальше и дальше уводила въ тотъ тупикъ натурализма, который закончился безчисленными романами Боборыкина. И даже наиболѣе даровитые изъ эпигоновъ реализма, нащупывавшіе „импрессіонистическіе пути“ (Гаршинъ, Короленко) были уже людьми склона, а не подъема. Художественный реализмъ кончался въ тупикѣ.

Надо было искать новые пути отъ великихъ вершинъ. Завершеніе старой формы разсказа и начало новой далъ Чеховъ своимъ безсознательнымъ „импрессіонизмомъ“ (здѣсь все дѣло—въ формѣ письма); новое воскресеніе демократіи въ девяностыхъ годахъ привело и къ возрожденію формъ реализма (М. Горькій). Но не на этихъ путяхъ можно было достичь новыхъ вершинъ; пути эти шли отъ былого „романтизма“, и ихъ достиженія сказались въ „нео-идеализмѣ“ конца XIX вѣка. Достиженія эти были въ области теоретической мысли; въ области художественнаго творчества достиженія эти проявились на путяхъ отъ „декадентства“ къ „символизму“.

Но это уже—періодъ „новѣйшей русской литературы“ (1890—1915), послѣдняя четверть вѣка *побѣды символизма и разложенія его*. Полувѣковой пушкинскій, реалистическій періодъ русской литературы былъ законченъ; начался новый путь—путь теоретическаго и художественнаго „романтизма“.

II.

Съ самаго начала девяностыхъ годовъ стали смутно брежжить „темные слухи о какомъ-то символизмѣ“. До подлиннаго символизма было, впрочемъ, еще далеко; сперва надлежало пройти бурный и обрывистый путь „декадентства“ (тогда еще не различались эти два совершенно различныхъ понятія). Истоки новаго теченія лежали во французской поэзіи, но здѣсь не мѣсто останавливаться на этой линіи развитія отъ Бодлера и Вер-

лена къ Малларме и Римбо; достаточно знать, что именно отъ этихъ истоковъ (включая въ нихъ и Метерлинка и многихъ другихъ) пошло русское „декаденство“, какъ новая форма поэзіи. А новая форма—всегда показатель новаго міровоззрѣнія.

„Міровоззрѣніе“—слишкомъ тяжеловѣсное и серьезное слово, чтобы примѣнять его къ полу-безсознательнымъ движеніямъ души группы молодежи, объединившейся около новаго теченія; да и „новое“, объединившее ихъ, было новымъ, конечно, лишь въ очень условномъ смыслѣ. Все это такъ; и все же новая „идеологія“ вскрылась мало-по-малу за новой формой поэзіи. „Форма“—была реакціей на тотъ упадокъ поэзіи, къ которому пришла русская литература къ девяностымъ годамъ; „идеологія“—была реакціей на умѣренно-либеральную и умѣренно-консервативную эпоху общественнаго мѣщанства. „Декаденты“ девяностыхъ годовъ были своеобразнымъ дополненіемъ „марксистовъ“ той же эпохи; и общественно-безграмотное декадентство и эстетически-безграмотный марксизмъ были двумя совершенно различными отвѣтами русской жизни, искавшей выхода изъ всяческаго болота предыдущей эпохи.

Наслѣдники пушкино-лермонтовской поэзіи въ теченіе полувѣка вели ее подъ уклонъ медленно, но вѣрно. Два большихъ поэта стоятъ особнякомъ на этомъ пути: Тютчевъ и Некрасовъ, и пути ихъ идутъ отъ Пушкина и Лермонтова. Но глубокій и слишкомъ особенный Тютчевъ не имѣлъ и не могъ имѣть наслѣдниковъ; а продолжатели пушкинскаго пути—Фетъ, Майковъ, Полонскій, поэты убывающаго значенія и дарованія,—несмотря на высокія достиженія (особенно у Фета) все же размельчились къ восьмидесятымъ годамъ на рядъ слабыхъ дарованій, среди которыхъ даже Апухтинъ, даже Голенищевъ-Кутузовъ были уже звѣздами первой величины. Некрасовъ, самобытнѣйшій русскій поэтъ, неизмѣримо болѣе глубокій, чѣмъ отражавшееся въ его поэзіи народничество, тоже не создалъ своей „школы“ (слишкомъ былъ онъ для этого своеобразенъ), но имѣлъ рядъ послѣдователей, не служившихъ для него украшеніемъ. Второстепенные поэты обоихъ путей русской поэзіи—Алексѣй Толстой, Мей, Щербина, Огаревъ, Никитинъ („наслѣдникъ Кольцова“), даже Плещеевъ—всѣ они были еще слишкомъ крупными величинами для поз-

днѣйшей эпохи восьмидесятыхъ годовъ, когда и Апухтинъ, и Суриковъ, и Дрожжинъ считались Божьею милостью поэтами.

Оба пути соединились, наконецъ, въ одномъ поэтѣ упадка, въ Надсонѣ, молодая искренность котораго не искупаетъ всей слабости формы и отвѣчающей ей скудости содержанія. Успѣхъ его былъ (и продолжаетъ оставаться) громаднымъ, десятки изданій его стиховъ разошлись среди русской молодежи: искренняя боль души поэта перевѣшиваетъ въ глазахъ этихъ читателей бѣдность и блѣдность выраженія этой боли. Жертва эпохи общественнаго мѣщанства, подлинный „герой безвременья“, Надсонъ заслуживаетъ всяческаго сочувствія, какъ человѣкъ, являясь въ то-же время типичнымъ поэтомъ упадка русской поэзіи; въ этомъ смыслѣ онъ поистинѣ послѣдній нашъ „декадентъ“ въ буквальномъ значеніи слова.

Были, правда, въ эту эпоху два-три поэта, которые дали намъ проблески новаго въ старомъ: Случевскій, впослѣдствіи признанный и „молодыми“, близкій имъ по текучести и „протеизму“ чувства („Я—художникъ мгновеній, Я—пѣвецъ настроеній“), и еще болѣе—Фофановъ, которому недостатокъ не таланта, а лишь образованія, помѣшалъ сдѣлаться Бальмонтомъ восьмидесятыхъ годовъ. (Впослѣдствіи судьба ихъ во многомъ была одинакова: замерли на разъ достигнутой точкѣ и растеклись въ многословіи). Но ласточка одна не дѣлаетъ весны: обновить русскую поэзію должна была сплоченная стая „молодыхъ“, тѣсной гурьбой, съ шумомъ и скандаломъ вошедшая въ русскую литературу „конца вѣка“. Они „эпатировали буржуа“, „эпатировали“ литературнаго мѣщанина, они не испугались клички „декадентовъ“, вырожденцевъ, дѣтей „fin de siécl'я“; и именно съ нихъ идетъ возрожденіе русской поэзіи и небывалый расцвѣтъ ея къ началу XX вѣка.

Конечно, къ новому теченію примазалось не мало скандалистовъ, рекламистовъ, случайныхъ людей—но всѣ они отпали и пропали съ теченіемъ времени; молотомъ времени стекло было раздроблено, булатъ былъ прокованъ. Три большихъ поэта „декадента“, признанные въ разное время, связаны съ девяностыми годами: К. Бальмонтъ, В. Брюсовъ, Ѳ. Сологубъ. Одинъ изъ нихъ, В. Брюсовъ, впослѣдствіи все больше и

больше сталъ приближаться къ „парнассизму“, къ четкости, къ строгости, къ ясности письма; другой, Ѳ. Сологубъ, заложившій позднѣе первые камни „новаго реализма“, ошибочно сталъ впослѣдствіи считаться однимъ изъ основоположниковъ „символизма“; третій, К. Бальмонтъ, остался до старости тѣмъ, чѣмъ былъ въ юности: чистымъ „декадентомъ“, поскольку декадентство есть вопросъ не только формы, но и „идеологіи“.

Вопросы формы мы здѣсь оставимъ въ сторонѣ; общеизвѣстно теперь, какія завоеванія въ этой области принесло съ собой „декадентство“ (и впослѣдствіи „символизмъ“). Но зато „идеологія“ декадентства касается насъ какъ нельзя ближе,—ибо „идеологіей“ этой было какъ разъ крайнее проявленіе того самаго „индивидуализма“, который является аріадниной нитью черезъ всю русскую литературу XIX вѣка.

III.

Крушеніе теоретическаго и художественнаго реализма къ девяностымъ годамъ привело ко всяческой „переоцѣнкѣ цѣнностей“, привело къ „отказу отъ наслѣдства“, привело снова къ попыткамъ „строиться въ пустынѣ“. Чѣмъ кончилъ нигилизмъ шестидесятыхъ годовъ, съ того начало въ девяностыхъ годахъ декадентство: съ отрицанія всякихъ цѣнностей, но зато съ признанія единственной, исключительной и самодовлѣющей цѣнности за своимъ „я“. Плохо понятое и плохо переваренное „нитцшеанство“ для многихъ изъ „декадентовъ“ было сперва первымъ толчкомъ, а затѣмъ и исповѣданіемъ вѣры.

Нитцше—рубежъ цѣлой эпохи въ развитіи западноевропейской мысли; теперь, къ двадцатымъ годамъ двадцатаго вѣка, собранія его блестящихъ и глубокихъ афоризмовъ значительно поблекли и обмельчали, но двѣ его книги останутся великими на всѣ времена: первая его книга, „Рожденіе трагедіи“, и одна изъ послѣднихъ „Такъ говорилъ Заратустра“. Отъ этихъ ключей долго еще будутъ питаться новые и новые истоки человѣческаго творчества; но не отъ нихъ питалось рус-

ское „декаденство“, оно несколько отъ Ницше,

сколько отъ уплощеннаго нитцшеанства лишь наиболѣе показныя и внѣшнія стороны новаго теченія духа.

„Самообожествленіе *я*“—одна изъ такихъ сторонъ русскаго „декадентства“. Стали ходячими отдѣльныя строки и строфы декадентскихъ поэтовъ, исповѣдывавшихъ этотъ свой символъ вѣры. Выше *моего* „я“ нѣтъ ничего; какъ оно волитъ, такъ тому и быть; мгновенное настроѣніе его цѣннѣе прошлаго и будущаго всего міра; кромѣ моего „я“ и за нимъ—лишь пустыня; долой поэтому всякую „гражданственность“, всякую общественность; зло и добро освящаются лишь моимъ воленіемъ. Н. Минскій, Д. Мережковскій, З. Гиппіусъ, поэты менѣе крупные, чѣмъ три, названные выше (быть можетъ только за исключеніемъ З. Гиппіусъ, узкой, но очень острой и пряной „декадентки“)—проложили дорогу первымъ русскимъ „декадентамъ“, группѣ молодежи девяностыхъ годовъ.

„Я цѣпи старыя свергаю, молитвы новыя пою“,— возглашалъ Н. Минскій, порывая съ былой „гражданственностью“; и его „новая молитва“ была лишь раціоналистической формулировкой „истины“, казавшейся тогда декадентамъ очень глубокой: „нѣтъ двухъ путей добра и зла—есть два пути добра“... И повторялъ В. Брюсовъ: „равны Любовь и Грѣхъ“. И повторялъ Д. Мережковскій: „и зло, и благо два пути, ведутъ къ единой цѣли оба, и все равно, куда идти“... Впослѣдствіи эта же мысль о „безднѣ вверху и безднѣ внизу“ послужила темой романа Д. Мережковскаго „Воскресшіе боги“.

Отсюда былъ путь къ „люциферіанству“ и далѣе— къ тому дешевому и плоскому „магизму“, который на склонѣ декадентства сталъ суррогатомъ подлинно глубокаго символизма. „О, мудрый Соблазнитель, Злой Духъ, ужели ты—непонятый Учитель великой красоты?“ (З. Гиппіусъ). Но и „демонизмъ“ и „магизмъ“ были уже попыткой спасенія изъ пустыни одинокаго „я“, а сперва въ этой пустынѣ декаденты хотѣли и жить, и умереть. „Люблю я себя, какъ Бога“ (З. Гиппіусъ)—общій ихъ символъ вѣры. Эта „любовь“, опиравшаяся въ концѣ-концовъ на „философскую“ почву солипсизма, особенно ярко выразилась въ рядѣ стихотвореній Ѳ. Сологуба.

„Я во всемъ, и нѣтъ иного. Все Я. И все что

есть, то—Я". „Я создалъ всѣ міры". „Благословенно все и во всемъ, ибо все и во всемъ—Я и только Я". „Я—весь. Я только Богъ". „Дамъ заповѣдь едину: люби, люби Меня". Такъ повторяетъ Ѳ. Сологубъ въ безчисленномъ рядѣ стихотвореній, въ „Литургіи Мнѣ", въ „Я"—„книгѣ совершеннаго самоутвержденія". И разъ „я" любитъ себя, какъ Бога, разъ „я" есть Богъ, то вѣчные законы мгновеннаго „я" и мгновенные законы вѣчнаго „я"—высшее въ мірѣ. Раньше поэты служили литургіи „Красотѣ"; но вѣдь нѣтъ этого кумира, вѣдь мое „я" можетъ волить и обожествленіе „Безобразія" (физическаго и нравственнаго). Долой кумиры! подлиннымъ Богомъ „я" можетъ быть только „Мгновеніе". Объ этомъ много сказалъ въ свое время К. Бальмонтъ.

Мгновенье вѣчно благовѣствуетъ,
Секунда—атомъ, живой алмазъ.
Мы расцвѣтаемъ, мы отцвѣтаемъ
Безъ сожалѣнья, когда не мыслимъ,
И мы страдаемъ, и мы рыдаемъ
Когда считаемъ, когда мы числимъ...

И эта тема проходитъ черезъ всѣ тома и тома его (и не только его) стиховъ. „Все, на чемъ печать мгновенья, брызжетъ свѣтомъ откровенья". „Живи, и знай, что ты живешь мгновеньемъ". „Я каждой минутой—сожженъ, я въ каждой измѣнѣ—живу". „Какъ пѣна морская, на мигъ возникая, погибнетъ, сверкая, растаетъ дождемъ,—мы, дѣти мгновенья, живемъ для стремленья"... Можно было бы привести еще сотни и сотни характернѣйшихъ отрывковъ о „царѣ-мгновеніи", ибо въ этомъ—одно изъ самыхъ *постоянныхъ* настроеній декадентства, провозглашавшаго *измѣнчивость*. „Мы мѣняемся всегда, нынче *нѣтъ*, а завтра *да*". Ибо твердаго „да" и „нѣтъ"—не существуетъ, ибо все декадентство есть „ни да, ни нѣтъ" („*Да* и *нѣтъ*—не слиты, не слиты—сплетены; ихъ темное сплетенье и тѣсно, и мертво"...), ибо все декадентство—область заглушенныхъ полу-звуковъ, утонченныхъ полу-тоновъ, изощренныхъ полу-чувствъ, заостренныхъ полу-мыслей.

И эта декадентская полутонность („rien que la nuance!" по завѣту ихъ французскаго учителя и предшественника), эта ихъ заостренность и изощренность, все это—характерное, общее, объединяющее свойство этихъ людей

„fin de siecl'я“. Конечно, это было признакомъ не „вырожденія“, а возрожденія, ибо это было лишь продолженіемъ того „углубленія художественной впечатлительности“, которое характеризуетъ всякое движеніе впередъ, и которое въ свое время могло быть отмѣчено и у Толстого, и у Достоевскаго. Но у декадентства эта „полутонность“ впадала въ „полусонность“, возводилась чуть-ли не въ принципъ познанія:

Удивленно
Заглянуть,
Полусонно
Воздохнуть,—
Это путь,
Для того, чтобъ возсоздать
То, чего намъ въ этой жизни вплоть до смерти не видать!

Это былъ разрывъ съ живой жизнью, которая не ограничиваетъ себя областью полу-тѣней и полу-звуковъ. „Мнѣ мило отвлеченное: имъ жизнь я создаю; я все уединенное, неявное люблю“... И созданная такъ жизнь не могла не быть лишь тѣнью жизни. „Звуковъ хотимъ, но созвучій боимся“,—а жизнь вся въ звукахъ, краскахъ и созвучіяхъ. Свѣтъ лампы, но не солнца—вотъ декадентство. „Какъ пламя робкое мнѣ мило! Не ослѣпляетъ и не жжетъ. Зачѣмъ мнѣ грубое свѣтило недосягаемыхъ высотъ?“ (З. Гиппіусъ). И хотя Бальмонтъ призывалъ своихъ соратниковъ: „Будемъ, какъ солнце!“, но гораздо болѣе характерной для декадентства была ненависть Ѳ. Сологуба къ „небесному Дракону“, къ „Змію“, слишкомъ яркому для кабинетныхъ, ночныхъ, безплодныхъ людей.

„Безплодіе“—о немъ рѣчь впереди; но изъ культа „мгновенія“, изъ страха подлиной жизни былъ попутно и еще выводъ. Жизнь неясная, полутонная, полутѣнная—не жизнь, а игра тѣней; да и вообще—„вся жизнь—игра; тотъ мудръ, кто понялъ это“. Ѳ. Сологубъ любилъ развивать эти мотивы. Самообожествленное „я“ тѣшится игрой—вотъ жизнь и міръ. „Вся жизнь, весь міръ—игра безъ цѣли“. „Все невинно, все смѣшно, все божественной игрою рождено и суждено“. „Я влюбленъ въ мою игру, я, играя, самъ сгораю“. Каждый замкнутъ въ своемъ заколдованномъ кругу, каждый „играетъ“, сгораетъ, умираетъ въ оградѣ своего обожествленнаго „я“. Такъ къ духовному нигилизму пришелъ антиподъ нигилизма—декадентство.

А если такъ, если все – божественная (или дьявольская) „игра“, то искусство, поэзія—высшая грань этого пути. В. Брюсовъ не разъ требовалъ поклоненія этому самодовлѣющему идолу: „исклоняйся искусству, только ему, безраздумно, безцѣльно“. Ибо—„быть можетъ все въ жизни лишь средство для ярко-пѣвучихъ стиховъ“. А въ такомъ случаѣ—жизнь не есть міровой синтезъ, человѣкъ не есть самоцѣль (онъ тоже „лишь средство“),—„и все равно, куда идти“. Такъ завершается „порочный кругъ“ мыслей и чувствъ декадентства, такъ мы приходимъ къ его исходному пути. „Я всѣ мечты люблю, мнѣ дороги всѣ рѣчи, и всѣмъ богамъ я посвящаю стихъ“... Всѣмъ богамъ—значитъ ни одному. „Неколебимой истинѣ не вѣрю я давно, и всѣ моря, всѣ пристани люблю, люблю равно“... Всѣ пристани – значитъ ни одной; люблю равно—значитъ не люблю. Холодность, негорѣніе, бездѣйственность, безплодіе—неизбѣжный удѣлъ самообожествленнаго „я“.

Духовное безплодіе—къ этому пришло декадентство, несмотря на всѣ свои внѣшнія завоеванія. Безплодіе это ясно у всѣхъ „декадентовъ“, быть можетъ ярче другихъ – у З. Гиппіусъ. „Любите смѣлость нежеланья“,—ибо желаніе есть жизнь. „Люблю я не исполненіе – возможность“,—ибо исполненіе есть дѣйственность. „Мой безогненный костеръ“, „душевный холодъ“, „какъ будто льда обломокъ острогранный въ меня вложили тайно вмѣсто сердца“... А живая жизнь кругомъ кипитъ, вся въ звукахъ, вся въ краскахъ, и среди нея стоитъ духовно безплодный „декадентъ“, измученный всѣми „предметами предметнаго міра“, самообожествившій себя, проклинающій жизнь, міръ и людей: „я горестно измученъ, я слабъ и безотвѣтенъ; а міръ такъ разнозвученъ, такъ грубо разносвѣтенъ!“ (З. Гиппіусъ).

IV.

Чтобы спастись отъ міра, отъ жизни и людей, декадентство замкнулось въ башнѣ своего одинокаго „я“. И сперва оно утѣшалось, забавлялось, гордилось своимъ одиночествомъ. „Въ башнѣ съ окнами цвѣтными я замкнулся навсегда!“ — восклицалъ К. Бальмонтъ, и радовался: „и *да* и *нѣтъ* – здѣсь все мое, пріемлю боль, какъ благостыню, благословляю бытіе, и если создалъ

я пустыню, ея величіе—мое!“ Гордое одиночество—заученная и напряженная поза декадентства, бывшая сперва искренней; а если и не „гордое“, то во всякомъ случаѣ самодовлѣющее:

Я одинъ въ странѣ пустынной,
Но услады есть въ пути,—
Улыбаюсь, забавляюсь,
Самъ собою вдохновляюсь,
И не скучно мнѣ идти,—

такъ утѣшалъ себя Ѳ. Сологубъ. Одиночество—а значитъ либо ненависть, либо презрѣніе, либо равнодушіе, либо просто не-любовь къ *человѣку*, и это очень характерно для крайняго индивидуализма декадентства. Правда, всѣ эти чувства оно пыталось скрыть подъ маской ненависти не къ человѣку, а къ „мѣщанину“, къ мѣщанству жизни: это тоже постоянная „декадентская“ тема, перешедшая по наслѣдству отъ всей русской литературы. Стихотвореніе К. Бальмонта „Въ домахъ“ не случайно посвящено М. Горькому, который въ то время какъ разъ писалъ „Мѣщанъ“:

Въ мучительно тѣсныхъ громадахъ домовъ
Живутъ некрасивые блѣдные люди,
Окованы памятью выцвѣтшихъ словъ,
Забывши о творческомъ чудѣ...

И еще болѣе заостряетъ онъ свою ненависть къ мѣщанству, еще болѣе учащаетъ онъ свои удары въ стихотвореніи „Человѣчки“:

Человѣчекъ современный, низкорослый, слабосильный,
Мелкій собственникъ, законникъ, лицемѣрный семьянинъ,
Весь трусливый, весь двуличный, косоушный, щепетильный,
Вся душа его, душонка—точно изъ морщинъ.

Вѣчно долженъ и не долженъ, то нельзя, а это можно,
Бракъ законный, спросъ и купля, обликъ сонный, гробъ сердецъ,
Можешь карты, можешь мысли передернуть осторожно,
Явно грабить—неразумно, но—стриги овецъ.

Монотонный, односложный, какъ напѣвы людоѣда:
Тотъ упорно двѣ-три ноты тянетъ-тянетъ безъ конца,
Звѣрь несчастный, существуетъ отъ обѣда до обѣда,—
Чтобъ поѣсть, жену убьетъ онъ, умертвитъ отца.

Этотъ—ту-же пѣсню тянетъ, только онъ вѣдь просвѣщенный,
Онъ оформитъ, онъ запишетъ, дверь запретъ онъ на крючекъ...
Блѣдноумный, сыщикъ вольныхъ, немочь сердца, евнухъ сонный—
О, когда-бъ ты, милліонный, вдругъ исчезнуть могъ!

И у всѣхъ другихъ „декадентовъ“ можно встрѣтить не менѣе безпощадные удары по мѣщанству; они связаны съ постояннымъ возстаніемъ противъ всяческой обыденности—обыденности не только людей, но и міра. Если Ѳ. Сологубу все „бытовое“ кажется „докучной да злой небылицей“ („люди, стѣны, мостовыя, колесницы...“), если всяческій „бытъ“ ненавистенъ декадентству, то отсюда всего одинъ шагъ до ненависти не только къ быту жизни, но и къ быту міра. „Я сокровеннаго все жду, и съ тѣмъ, что явлено, враждую“. Отсюда и столь осмѣянныя когда-то строки З. Гиппіусъ: „о, пусть будетъ то, чего не бываетъ, никогда не бываетъ... Мнѣ нужно то, чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ“... Отсюда и строки К. Бальмонта: „я хочу порвать лазурь успокоенныхъ мечтаній, я хочу горящихъ зданій, я хочу кричащихъ бурь!“ Ненависть къ „мѣщанству міра“, основная тема Лермонтова, нашла свой откликъ черезъ полвѣка въ поэзіи декадентства.

И все это—оправданіе „гордаго одиночества“. Но за этой ненавистью къ мѣщанству декаденты хотѣли спрятать свою не-любовь къ человѣку. Ибо для крайняго индивидуалиста, самодовлѣющаго, самообожествившагося—*человѣкъ* всегда чуждъ и враждебенъ, хотя бы онъ и не былъ „человѣчкомъ“. И всѣ декаденты, безъ исключенія, признаются въ концѣ-концовъ, что не только къ „мѣщанину“, но и ко всякому „человѣку“—ихъ отвращеніе, ихъ скука. „Быть съ людьми—какое бремя!“—восклицаетъ часто и часто Ѳ. Сологубъ. „Я не умѣю жить съ людьми“—признается З. Гиппіусъ. „Я людямъ чуждъ“; „и хочу, но не въ силахъ любить я людей, я чужой среди нихъ“—повторяетъ не одинъ разъ Д. Мережковскій. „Всѣхъ людей я не люблю, какъ самого себя“—заявляетъ Н. Минскій. Въ послѣднемъ онъ не слишкомъ искрененъ, ибо „себя“ декаденты настолько любили, что и обожествили: „люблю я себя, какъ Бога“.

Но мы видѣли: отъ этой башни самодовлѣющаго „я“ всѣ пути въ міръ отрѣзаны; въ башнѣ этой декадентство гордо замкнулось, но въ ней же оно и задохнулось. И здѣсь—гибель, здѣсь начало конца декадентства, здѣсь крикъ его отчаянія: одиночество стало его могилой.

Помогите! помогите! Я одинъ въ ночной тиши.
Цѣлый міръ ношу я въ сердцѣ, но со мною ни души,—

это вопль отчаянія К. Бальмонта. Прежнее радостное одиночество превращается въ жуткое чудовище, которое кошмаромъ душитъ былого сверхъ-индивидуалиста; и съ жутью признается З. Гиппіусъ:

Мое одиночество—бездонное, безгранное,
Но такое душное, такое тѣсное;
Приползло ко мнѣ чудовище, ласковое, странное,
Мнѣ въ глаза глядитъ и что-то думаетъ неизвѣстное...

И съ чудовищемъ этимъ—плохія шутки; это гибель, это смерть, это могила всего декадентства. Хорошо было раньше утѣшаться: „я одинъ въ странѣ пустынной, но услады есть въ пути,—улыбаюсь, забавляюсь“... Теперь уже не до забавъ, не до игры; и если даже весь міръ, вся жизнь есть лишь игра (былая вѣра декадентства), то игра эта, оказывается, „пустая, тлѣнная, напрасная игра“ (Ѳ. Сологубъ). И если прежде декадентъ утѣшался въ своей башнѣ: „что-жъ! найду отраду за той оградой быть!“, если онъ собирался въ стѣнахъ своей ограды „воздвигнуть всѣ міры, которыхъ пожелаетъ законъ моей игры“, то теперь ему уже не до игры, не до отрады: отъ башни гордаго одиночества повѣяло „великимъ холодомъ могилы“ (Ѳ. Сологубъ), а сама „башня съ окнами цвѣтными“ обратилась въ могильный, сырой склепъ:

Я живу въ темной пещерѣ,
Я не вижу бѣлыхъ ночей.
Въ моей надеждѣ, въ моей вѣрѣ
Нѣтъ сіянья, нѣтъ лучей...
Въ моей пещерѣ тѣсно и сыро,
И нечѣмъ ее согрѣть.
Далекій отъ земного міра
Я долженъ здѣсь умереть.

Такова была судьба декадентства. Башня превратилась въ тюрьму; былые боги обратились въ узниковъ; ограда башни преобразилась въ заборъ звѣринца: „мы—плѣненные звѣри, голосимъ, какъ умѣемъ; глухо заперты двери, мы открыть ихъ не смѣемъ“. Всѣ эти признанія Ѳ. Сологуба—характерны, типичны; это не только міръ его души, но и обнажившаяся душа всего декадентства. Оно пришло къ могилѣ, къ пропасти, къ провалу—и еще въ серединѣ девяностыхъ годовъ сознаніе это отразилось въ похоронномъ стихотвореніи В. Брюсова:

...Молча надъ сумрачной бездной
Качаются наши ступени.
Друзья! Мы спустились до края!
Стоимъ надъ развернутой бездной—
Мы, путники ночи беззвѣздной,
Искатели смутнаго рая.
Мы вѣрили нашей дорогѣ,
Мечтались намъ отблески рая...
И вотъ—неподвижны—у края
Стоимъ мы въ стыдѣ и тревогѣ.

И поэтъ спрашивалъ себя, спрашивалъ другихъ: „послышится-ль голосъ спасенья, откуда — изъ бездны йль свыше?“ Спасенія „изъ бездны“ они не дождались, хотя и пробовали искать его въ дешевомъ „магизмѣ“, „люциферіанствѣ“, служили „черныя мессы“, причащались человѣческой кровью (стихотворенія Ѳ. Сологуба „Маріи“ и др.; А. Ремизовъ—„Черную обѣдню я творилъ съ тобой“,—см. журналъ „Золотое Руно“). И все это было вотще—только еще болѣе горькій осадокъ оставался на гибнувшихъ въ одиночествѣ душахъ. „Такъ вотъ въ какія пустыни ты насъ заманилъ, Соблазнитель!—восклицалъ былой провозвѣстникъ „магизма“ россійской выдѣлки, В. Брюсовъ: – эта страна—безвѣстное Гоби, гдѣ Отчаянье — имя столицѣ! Здѣсь тихо, какъ въ гробѣ“... Гробъ—вотъ во что обратилась былая „башня съ окнами цвѣтными“; и декаденты могли бы теперь повторить о себѣ слова Фауста--

Weh! steck'ich in dem Kerker noch?
Verfluchtes dumpfes Mauerloch!
Wo selbst das liebe Himmelslicht
Trüb'durch gemalte Scheiben bricht [1]).

Пещера, могила, гробъ, провалъ—къ этому пришло декадентство, завершивъ свой кругъ къ концу девяностыхъ годовъ. Не дождавшись спасенія „изъ бездны“ оно стало чаять его „свыше“—и отсюда такой рѣзкій, казалось бы, переходъ отъ декадентства къ символизму, переходъ къ религіознымъ исканіямъ, къ „нео-христіанству“. Это былъ слѣдующій этапъ „нео-идеалистическаго“ теченія, ибо отъ „проблемъ идеализма“ прямой былъ путь къ проблемамъ мистицизма, къ проблемамъ

[1]) Увы! останусь-ли въ тюрьмѣ,
Въ проклятой каменной норѣ!
Здѣсь солнца лучъ въ цвѣтномъ окнѣ
Печально такъ мерцаетъ мнѣ.

христіанства. И одинъ изъ первыхъ декадентовъ, Д. Мережковскій, однимъ изъ первыхъ вступилъ и на этотъ путь, на которомъ жаждалъ спасенія и исхода изъ могильнаго склепа декадентства. Когда-то, въ молодые дни этого теченія, онъ провозглашалъ: „мы для новой красоты нарушаемъ всѣ законы, преступаемъ всѣ черты“, но тутъ же называлъ себя и своихъ соратниковъ обреченными на смерть „дѣтьми ночи“ и признавался: „дерзновенны наши рѣчи, но на смерть осуждены слишкомъ ранніе предтечи слишкомъ медленной весны“. И сознавая гибель въ одиночествѣ, онъ взывалъ къ новымъ пророкамъ и грядущимъ пѣвцамъ:

Мы безконечно одиноки,
Боговъ покинутыхъ жрецы.
Грядите, новые пророки,
Грядите, вѣщіе пѣвцы
Еще невѣдомые міру!

Пѣвцы и пророки пришли,—пришелъ „символизмъ“. Но тщетна была попытка влить въ новые мѣха символизма старое вино декадентства, стать изъ „декадентовъ“ — „символистами“. Ибо „сдѣлаться“ символистомъ—нельзя, какъ нельзя „сдѣлаться“ и поэтомъ, имъ можно только быть, имъ надо родиться: decadentes fiunt, symbolistae nascuntur.

V.

Лишь мало-по-малу выяснилась грань перелома между „декадентствомъ“ и „символизмомъ“. Сначала оба эти понятія употреблялись синонимно, и „символистовъ“ расплодилось тогда многое множество. И лишь по мѣрѣ того, какъ выявлялся „кризисъ индивидуализма“ былого декадентства, стало ясно, что символизмъ долженъ былъ стать новымъ путемъ для исхода декадентовъ изъ пустыни, изведеніемъ декадентской души изъ темницы, изъ могилы, изъ склепа, изъ былой „башни съ окнами цвѣтными“. Казалось, что это такъ просто: былые „декаденты“, Д. Мережковскій, З. Гиппіусъ и др., начнутъ искать спасенія въ „религіозныхъ запросахъ“, начнутъ искать истины въ обновленномъ христіанствѣ, начнутъ издавать журналъ „Новый Путь“ (1903—1904 г.), начнутъ возставать противъ былого своего декадентства. Забывалось только одно:

что „символизмъ“—какъ тремя-четвертями вѣка ранѣе „романтизмъ“,—не только міровоззрѣніе, но и міроощущеніе, міровоспріятіе, что „мистическое воспріятіе“, лежащее въ основѣ и романтизма и символизма, не берется, а дается. А кому не дано—тѣ тщетно будутъ называть себя „символистами“: они будутъ ими лишь по внѣшней формѣ, а не по сущности духа.

Декадентство погибло и распалось. „Банкротство индивидуализма“ – своего крайняго сверхъ-индивидуализма—оно горько испытало на себѣ самомъ и стало искать спасенія на путяхъ „мистическаго воспріятія“. Правда, не всѣ пошли къ этому пути, нѣкоторые пожелали остаться въ пещерѣ, остаться въ подполье, остаться со своимъ послѣднимъ отчаяніемъ („люблю я отчаяніе мое безмѣрное“, З. Гиппіусъ). Идеологомъ такого настроенія, такого міровоззрѣнія явился въ исходныхъ дняхъ декадентства Л. Шестовъ. Этотъ своеобразный италантливый ученикъ Нитцше можетъ считаться со своей философіей подполья подлиннымъ *идеологомъ декадентства*, но тѣмъ непримиримѣе онъ ко всякому символизму, въ который тщетно пытались войти отъ своего отчаянія многіе былые декаденты. Дорога въ него была имъ закрыта.

Дѣйствительно, что такое *символизмъ?* Вопросъ этотъ возвращаетъ насъ къ давно разобраннымъ понятіямъ „реализма“ и „романтизма“, ибо лишь своеобразнымъ измѣненіемъ послѣдняго явился символизмъ начала XX вѣка. Два основныхъ человѣческихъ міровоззрѣнія, міропониманія, міроощущенія, міровоспріятія, два вѣчныхъ пути человѣческаго духа лежатъ передъ нами; и мы знаемъ, что „реализмъ“ и „романтизмъ“ безмѣрно шире, чѣмъ отвѣчающія этимъ названіямъ литературныя теченія и направленія.

Русскій „романтизмъ“ двадцатыхъ-тридцатыхъ годовъ въ своемъ художественномъ преломленіи былъ псевдо-романтизмомъ. Вмѣстѣ съ Пушкинымъ воцарился на полъ-вѣка реализмъ—и какъ литературное направленіе, и какъ міровоспріятіе, и какъ міровоззрѣніе; о побѣдѣ и разложеніи этого реализма мы говорили на предыдущихъ страницахъ. На смѣну ему къ началу XX вѣка пришелъ романтизмъ подъ новымъ именемъ „символизма“—и на этотъ разъ романтизмъ подлинный въ основѣ, тѣсно связанный, какъ

литературное направленіе, съ глубокими психологическими и гносеологическими основами новаго воспріятія.

О символизмѣ много было споровъ—не меньше, чемъ въ былые дни о романтизмѣ двадцатыхъ-тридцатыхъ годовъ. И теперь, какъ и тогда, чаще всего обращали вниманіе на частные признаки, опредѣляющіе именно этотъ новый романтизмъ начала XX вѣка; но за этимъ частнымъ видѣли и общее—тотъ *принципъ творчества*, который опредѣляетъ собою искусство въ бѣгѣ вѣковъ и тысячелѣтій. Одинъ изъ главныхъ теоретиковъ символизма, В. Ивановъ, справедливо указывалъ, что въ этомъ смыслѣ и Эсхилъ, и Данте—„символисты“, ибо всякое „высокое искусство“ — символично, ибо образы такого искусства всегда являются „символами“. Но это обобщающее утвержденіе („всякое подлинное искусство есть символизмъ“) — настолько обще, что теряетъ всякое методологическое значеніе. Если и Эсхилъ, и Данте, и Пушкинъ, и Гоголь—„символисты“ по своему отношенію къ акту творчества, то очевидно, что они рѣзко различаются между собой въ чемъ-то другомъ, и это „что-то другое“—актъ познанія и сознанія.

Познаніе символизма — мистично, вотъ въ чемъ узелъ вопроса, въ свое время стянувшійся и надъ „романтизмомъ“. Не въ томъ только дѣло, что реализмъ есть утвержденіе конечнаго во имя безконечнаго, а романтизмъ—отрицаніе конечнаго во имя безконечнаго. Пусть реализмъ—вѣренъ землѣ, а романтизмъ стремится „за предѣлы предѣльнаго, къ безднамъ свѣтлой безбрежности“, — здѣсь рѣшающимъ моментомъ является не стремленіе, а проникновеніе. Подлинный романтизмъ, подлинный символизмъ—тамъ и только тамъ, гдѣ есть „касаніе мірамъ инымъ“. Въ этомъ смыслѣ „символистъ“ не Эсхилъ, а Яковъ Беме, не Пушкинъ, а Вл. Соловьевъ. И не случайно противопоставляю я въ этихъ именахъ художественное и философское творчество,—ибо именно Вл. Соловьевъ былъ тѣмъ первымъ русскимъ „символистомъ“, котораго признали своимъ учителемъ виднѣйшіе „символисты“ начала XX вѣка.

Итакъ, подобно былому романтизму, символизмъ не есть только принципъ творчества, но и нѣкое міровоззрѣніе, міроощущеніе, связанное съ высшимъ позна-

ніемъ, съ духовнымъ опытомъ, съ мистическимъ воспріятіемъ; символизмъ есть не только нѣкоторое литературное направленіе, но и *опредѣленное „романтическое“ міровоззрѣніе*, зиждущееся на почвѣ психологической и познавательной. Въ смѣнѣ вѣковъ не разъ смѣнялись „реализмъ“ и „романтизмъ“ въ этомъ условномъ смыслѣ слова, и каждый разъ возрождались они подъ новыми формами, въ новыхъ одеждахъ. „Символизмъ“ начала XX вѣка, положившій краеугольнымъ камнемъ своего символа вѣры—вѣру въ символъ, безмѣрно отличается, конечно, отъ своего предшественника начала XIX вѣка (если даже позабыть о „псевдо“-романтизмѣ послѣдняго); но основа ихъ—общая. Неоромантизмъ нашихъ дней былъ проявленіемъ въ художественной литературѣ того же, чего проявленіемъ въ области философіи былъ нео-идеализмъ, вплотную подошедшій къ мистицизму.

На смѣну былому реализму пушкинскаго періода пришелъ романтизмъ—пришелъ символизмъ какъ міровоззрѣніе, какъ міроощущеніе, какъ литературное теченіе. Новое же міровоззрѣніе проявляется въ новыхъ формахъ,—и подготовительныя работы по разрушенію старыхъ формъ, по созиданію формъ новыхъ произвело декадентство. Оно погибло и разложилось, оно лишь удобрило собою почву для пышнаго расцвѣта символизма. И именно потому былые декаденты, отчаявшіеся, погибавшіе въ своей мертвой пустынѣ, не вошли на „новый путь“—какъ имъ ни хотѣлось войти. Словесно они могли символизмъ проповѣдывать, духовно они безсильны были его исповѣдывать. Новые молодые поэты вошли въ русскую литературу по пути символизма, старые—погибли въ пустынѣ.

VI.

Когда въ 1894 году впервые вышли собранные В. Брюсовымъ книжки „Русскіе символисты“, то не кто иной, какъ Вл. Соловьевъ написалъ рядъ злѣйшихъ пародій на эти боевыя выступленія нашего декадентства. Принято видѣть въ этомъ ошибку Вл. Соловьева, который не сумѣлъ оцѣнить въ новомъ теченіи живыхъ струй подлинной поэзіи; забываютъ одно—насколько правъ былъ онъ, сразу увидѣвшій, что въ

этомъ новоявленномъ „символизмѣ“ нѣтъ ни зерна подлиннаго символизма. И пусть тогда еще не были раздѣлены понятія „символизма“ и „декадентства“, но за нарочито крикливыми проявленіями новой поэзіи Вл. Соловьевъ прозрѣвалъ всю отграниченность „декадентовъ“ отъ міра, ихъ замыканіе въ узкомъ кругу „я“. А отграниченность есть ограниченность – духовная гибель и смерть.

Вл. Соловьевъ умеръ въ 1900 году на порогѣ прихода молодого символизма въ русскую литературу. Первые юношескіе опыты свои уже писалъ и печаталъ Андрей Бѣлый; еще не печаталъ, но уже писалъ свои первые стихи о „Прекрасной Дамѣ“ Александръ Блокъ; медлительно готовился къ литературному пути значительно болѣе старшій Вячеславъ Ивановъ. Эти три имени опредѣляютъ собою вершины и высшія достиженія молодого символизма, подобно тому какъ три имени К. Бальмонта, В. Брюсова и Ѳ. Сологуба опредѣляютъ собою вершины декадентства девяностыхъ годовъ.

Изъ этихъ трехъ основоположниковъ декадентства одинъ только В. Брюсовъ искренно и откровенно призналъ безсиліе стараго теченія декадентства вступить на новые пути символизма. Въ отвѣтъ на стихи о „Прекрасной Дамѣ“,— а она была тогда символомъ Міровой Души, Lumen coeli sancta Rosa,—онъ написалъ искреннее и горькое стихотвореніе „Младшимъ“ (1903 г.):

Они Ее видятъ! они Ее слышатъ!
Съ невѣстой женихъ въ озаренномъ дворцѣ!
Свѣтильники тихое пламя колышатъ,
И отсвѣты радостно блещутъ въ вѣнцѣ.

А я—безнадежно бреду за оградой
И слушаю говоръ за длинной стѣной.
Голодное море безумствовать радо,
Кидаясь на камни, внизу, подо мной.

За окнами свѣтъ, непонятный и желтый,
Но въ небѣ напрасно ищу я звѣзду...
Дойдя до воротъ, на желѣзные болты
Горячимъ лицомъ приникаю—и жду.

Тамъ, тамъ, за дверьми—ликованіе свадьбы,
Въ дворцѣ озаренномъ съ невѣстой женихъ!
Желѣзные болты сломать-бы, сорвать-бы!
Но пальцы безсильны и голосъ мой тихъ.

Не многіе изъ былыхъ декадентовъ имѣли искренность повторить о себѣ подобныя слова; большинство смѣло вступило на новый путь—религіозный, апокалипсическій. Ибо символизмъ сразу началъ съ самой высокой, съ самой напряженной ноты: съ эсхатологическихъ чаяній и упованій. Исходомъ изъ декадентства была лишь смерть въ каменной норѣ душной башни („для смерти лишь открою потайное окно"), смерть—либо безуміе. Символизмъ заговорилъ объ иномъ „безуміи", смѣшномъ для „дѣтей вѣка сего", устами Д. Мережковскаго онъ заговорилъ о близкой кончинѣ міра, о второмъ пришествіи Христовомъ, о концѣ исторіи и человѣчества на дняхъ сихъ, еще при жизни нашей. Но у слишкомъ многихъ все это „безуміе" такъ и осталось словами о безуміи, міровоззрѣніе не претворилось въ міровоспріятіе. И не могло претвориться: міровоззрѣнія можно мѣнять (вспомнимъ душевныя трагедіи Бѣлинскаго), міровоспріятіе неизмѣнно. Символистомъ, подлиннымъ въ своихъ переживаніяхъ, нельзя было *стать*, имъ можно было *быть*.

Вотъ почему такъ много внѣшнихъ „символистовъ" появилось въ эти девятисотые годы въ русской литературѣ. И вотъ почему такъ мало подлинныхъ символистовъ осталось въ ней. „Быть можетъ никто изъ насъ не есть истинный символистъ"—признался однажды В. Ивановъ; и онъ былъ, конечно, правъ. Ибо *право на символизмъ* имѣютъ лишь тѣ, для кого онъ не только литературное теченіе, не только даже психологическая категорія, но и категорія познавательная; для кого онъ не только міровоззрѣніе, но и міровоспріятіе.

Такое „право на символизмъ" имѣлъ Вл. Соловьевъ; и кое-кто изъ сверстниковъ „декадентовъ" стоялъ къ символизму по настроенію своему ближе, чѣмъ къ декадентству (А. Добролюбовъ, Ю. Балтрушайтисъ, И. Коневской-Ореусъ). Но даже и на вершинахъ символизма далеко не всегда былъ онъ, символизмъ, „имѣвшимъ право"—и въ этомъ отношеніи ступени его ведутъ отъ В. Иванова къ А. Блоку и отъ него къ А. Бѣлому. Раціоналистическій у перваго, мистическій у послѣдняго—въ послѣднемъ онъ и достигаетъ высшей точки пути.

VII.

Творчество этихъ трехъ большихъ поэтовъ, мыслителей, художниковъ не можетъ быть раскрыто на немногихъ страницахъ [1]); здѣсь приходится ограничиться лишь краткой характеристикой. Вліяніе поэзіи Пушкина, Тютчева и Некрасова, прозы Гоголя и Достоевскаго, философіи Вл. Соловьева своеобразно преломилось въ творчествѣ символистовъ.

Тяжеловѣсно-велелѣпная философская поэзія В. Иванова идетъ отъ Баратынскаго и Тютчева; архаизированная, она возвращаетъ насъ чуть ли не къ XVIII вѣку, къ Державину, къ масонамъ раціоналистамъ и мистикамъ. Глубокій знатокъ эллинскаго міра, ученикъ Моммзена, онъ захотѣлъ стать тѣмъ, чѣмъ быть не могъ: носителемъ „духовнаго знанія“ и проявителемъ его въ своихъ произведеніяхъ. Символизмъ его есть поэтому лишь искусно слаженная личина, которая съ перваго взгляда обманно скрываетъ подлинный раціоналистическій ликъ его. Ни пентаграммы, ни туманные намеки на „высшее знаніе“ не помогаютъ ему спрятаться отъ самого себя, отъ своего подлиннаго лика; и если протянуть линію къ XVIII вѣку, то не масонамъ-мистикамъ, не розенкрейцерамъ близокъ В. Ивановъ (чего онъ страстно желалъ бы), а раціоналистическому теченію (которому онъ такъ враждебенъ). Онъ много и умно говорилъ съ чужихъ словъ о Люциферѣ, объ Ариманѣ, о духовномъ знаніи, о духовномъ опытѣ,—но говоритъ о томъ чего внутренне не знаетъ, чего духовно не имѣетъ. Мучительное стремленіе быть тѣмъ, чѣмъ быть ему не дано—трагедія его творчества. Хотѣлъ бы быть духовнымъ „учителемъ“, является лишь литературнымъ maître'омъ.

И въ послѣднемъ—его заслуги, которыхъ нельзя не дооцѣнить. Для цѣлаго ряда молодыхъ поэтовъ девятисотыхъ годовъ онъ былъ тотъ arbiter elegantiarum, который многому ихъ научилъ. Большой мастеръ техники, излюбившій такую наитруднѣйшую (но и наимертвѣйшую) форму, какъ „вѣнокъ сонетовъ“, онъ сталъ

---

[1]) Подробнѣе—въ моей книгѣ „*Александръ Блокъ. Андрей Бѣлый*“ (Спб., 1919 г.).

однимъ изъ искуснѣйшихъ „александрійцевъ“ символизма, достигъ недоступныхъ ранѣе вершинъ въ своей тяжеловѣсной поэзіи. Талантливый и лукавый Василій Шуйскій символизма, онъ, конечно, носилъ лишь маску подлиннаго мистика, но страстно хотѣлъ, чтобы маска эта была его подлиннымъ лицомъ. Одно время ему удалось увѣрить въ этомъ многихъ—и быть можетъ даже самого себя.

Однимъ изъ первыхъ заговорилъ В. Ивановъ о „кризисѣ индивидуализма“ былого декадентства, противопоставивъ ему нѣкую теургическую „соборность“; но и здѣсь всѣ эти „орхестры и θимелы“ грядущей „мистеріи свободнаго творчества“ остались словесными построеніями, безмѣрно далекими отъ жизни. Ибо „мистерія“ есть какъ разъ та область, въ которую не дано вступить вѣрному выученику Аполлона, тщетно пытающемуся быть жрецомъ Діониса. Большой мастеръ художественнаго слова, напрасно тщился онъ дарованный ему жизнью вѣнокъ поэта замѣнить вѣнцомъ пророка. И хотя справедливо горькое восклицаніе В. Брюсова—

Горе, кто обмѣнитъ
На вѣнокъ—вѣнецъ!

(это горе вскорѣ стало судьбою А. Блока), но на примѣрѣ В. Иванова можно научиться и другому, обратному: горестной попыткѣ обмѣнять добытый вѣнокъ на недоступный вѣнецъ.

А. Блокъ — полная противоположность старшему своему собрату. Тяжелозвонкія философемы одного—легкозвучная лирика другого; никогда ни одного „вѣнка сонетовъ“ не могъ бы написать А. Блокъ, точно также какъ никогда ни одного сонета не написалъ А. Бѣлый. Глубоко отравленный былымъ декадентствомъ, изнемогавшій въ „стеклянной пустынѣ“ одинокой души, не ушедшій отъ міра въ башню съ окнами цвѣтными—А. Блокъ нашелъ спасеніе въ мистикѣ Вѣчно-Женственнаго, въ эзотерическомъ ученіи Вл. Соловьева. На слова учителя—

Знайте-же! Вѣчная Женственность нынѣ
Въ тѣлѣ нетлѣнномъ на землю идетъ,

ученикъ отвѣтилъ цикломъ „стиховъ о Прекрасной Дамѣ“. Подлинно тогда „горѣлъ душою“ онъ, бѣдный рыцарь символизма, и этотъ душевный пожаръ на

минуту растопилъ ледъ одинокой декадентской души. Ибо трагедія А. Блока оказалась обратной, по сравненію съ трагедіей В. Иванова: одинъ пророкъ, другой поэтъ—оба они потерпѣли пораженіе отъ жизни. В. Ивановъ безплодно пытался замѣнить свой вѣнокъ—вѣнцомъ; А. Блокъ безвольно далъ жизни замѣнить свой вѣнецъ—вѣнкомъ...

Да, былъ я пророкомъ. Царемъ я не буду.
Рабомъ я не стану. Но я—человѣкъ,—

такъ говоритъ поэтъ о себѣ. Онъ *былъ* пророкомъ, онъ *имѣлъ право* на символизмъ, имѣлъ право на вѣнецъ—и обмѣнялъ его на вѣнокъ лирическаго поэта. Онъ имѣлъ право на „безуміе“ (ибо пророкъ—всегда безумецъ въ глазахъ людей), но потерялъ его, замѣнилъ Прекрасную Даму—Незнакомкой, Снѣжной Маской, Картонной Невѣстой („Балаганчикъ“), любовь къ розѣ и кресту—земною „влюбленностью“. Благоуханнѣйшій вѣнокъ поэта (безмѣрно тяжелый для него самого) сталъ его удѣломъ; до небывалой тонкости довелъ онъ знаменитый „трехдольный паузникъ“, свои перебойные ритмы, выражавшіе его душевные перебои. Паденіе его—отъ вѣнца къ вѣнку—совершилось въ тундровые годы между двумя русскими революціями; вмѣсто горѣнія сердца въ пламени—было метаніе въ снѣжномъ вихрѣ вновь замерзающей души. И лишь событія мірового переворота вновь взметнули эту душу на недостигнутую ранѣе высоту („Двѣнадцать“, „Скиѳы“).

Крайне близокъ А. Блоку—и въ то же время опять противоположенъ ему—третій поэтъ, достигшій вершинъ символизма, А. Бѣлый. Вѣчно пылающій духомъ, не обмѣнялъ онъ вѣнецъ на вѣнокъ, не надѣвалъ никакихъ личинъ, но, мятущійся, искалъ истины на новыхъ и новыхъ путяхъ. И онъ тяжко преодолѣвалъ былое декадентское одиночество, и онъ испыталъ на самомъ себѣ тяжкій „кризисъ индивидуализма“, и онъ вступилъ на „путь безумія“, ожидая ближайшихъ эсхатологическихъ свершеній, и онъ шелъ отъ Вл. Соловьева и его „Трехъ разговоровъ“. Новую, свою форму создалъ онъ (отъ него потомъ многимъ заимствовались „футуристы“), одинаково далекую и отъ легкозвучности А. Блока и отъ тяжелозвонкости В. Иванова; отъ Тютчева, отъ Баратынскаго, позднѣе отъ Некрасова идетъ линія его

Когда путь „безумія“ былъ пройденъ до конца (это совпало съ концомъ первой русской революціи), онъ пытался найти спасеніе на пути строгой философской мысли; но и этотъ путь обманулъ. Вѣчно ищущій, подлинный „символистъ“ по духу, онъ вступилъ тогда на путь реальнаго „теургическаго“ дѣланія, о которомъ только словесно могъ разсуждать В. Ивановъ; путь этотъ А. Бѣлый нашелъ въ теософіи, въ антропософіи Рудольфа Штейнера. Теософія, рожденная въ свѣтъ одной изъ геніальнѣйшихъ русскихъ женщинъ минувшаго вѣка, Блаватской, была вѣдь задолго до „символизма“ своеобразнымъ и глубоко знаменательнымъ его проявленіемъ.

Въ этотъ періодъ своей жизни, между двумя русскими революціями, А. Бѣлый создалъ замѣчательнѣйшее произведеніе эпохи символизма—романъ „Петербургъ“; въ немъ и въ послѣдующихъ произведеніяхъ А. Бѣлаго („Котикъ Летаевъ“, „Записки чудака“ и др.)—вершины, достигнутыя русскимъ символизмомъ. За ними—уже давно начавшійся скатъ эпигонства, кризисъ символизма, разложеніе его; недаромъ къ этому времени въ поискахъ новыхъ путей появляется новое „декадентство“ начала XX вѣка—„футуризмъ“, нѣкое чудище „обло, озорно и лаяй“.

Высочайшая вершина символизма была достигнута; и если бы символизмъ, если бы романтизмъ нуждался въ оправданіи, то таковымъ было бы для него хотя бы одно творчество А. Бѣлаго.

VIII.

Вершины символизма—какъ и всякія вершины—не для всѣхъ; онѣ, какъ и горныя тропинки въ Альпахъ, по замѣчанію Л. Шестова, nur für die Schwindelfreie, только для не боящихся головокруженія. Массовой „читающей публикѣ“—удобнѣе и уютнѣе въ низинахъ; тамъ эпигоны прокладываютъ широкіе шоссейные пути. Вершины символизма остались и до сихъ поръ для немногихъ; но „символизмъ“ и „декадентство“, какъ новыя формы,—одержали блестящую побѣду въ русской литературѣ. Правда, это была та самая побѣда, о которой еще въ девяностыхъ годахъ вѣрно предсказалъ В. Брюсовъ:

Но настанетъ мигъ—я вѣдаю—
Побѣдятъ мои друзья,
И надъ жалкой ихъ побѣдою
Засмѣюся первымъ - я.

„Жалкая побѣда“—ибо всякая побѣда есть уже и пораженіе, ибо всякая побѣда есть уже и приспособленіе. Вершины лежатъ за снѣговой линіей приспособленчества, но въ низинахъ побѣда часто ведетъ къ вырожденію. Такъ въ жизни, такъ въ политикѣ, такъ и въ литературѣ.

В. Ивановъ, А. Блокъ, А. Бѣлый явились признанными, прославленными и непонятыми; „символизмъ“ сталъ понятенъ массѣ лишь въ общедоступной формѣ „аллегоризма“, тѣмъ болѣе, что проявителемъ послѣдняго явился большой талантъ Л. Андреева. Вотъ кто явился властителемъ думъ поколѣнія начала девяностыхъ годовъ, непосредственнымъ преемникомъ Чехова и М. Горькаго.

Все тотъ же вѣковѣчный вопросъ о человѣческой личности, все та же наслѣдственная вражда живого духа къ мѣщанству лежала въ произведеніяхъ Л. Андреева, какъ до него у Чехова и у М. Горькаго; но было нѣчто новое, свое, опредѣляющее творчество Л. Андреева и его мѣсто въ русской литературѣ. Въ то время какъ его предшественники восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ обратились въ своемъ творчествѣ къ вопросамъ общественно-этическимъ (тутъ и Гаршинъ, и Короленко, и М. Горькій), Л. Андреевъ вернулся къ темамъ философско-этическимъ, а значитъ и вернулся къ Достоевскому. Правда, одновременно съ нимъ къ этимъ темамъ подошелъ и символизмъ, углубивъ ихъ до проблемъ религіозно-философскихъ, но именно въ этомъ углубленіи и лежала причина ихъ недоступности для того читателя, которому по плечу была поэзія не Тютчева, а Надсона, философія не Вл. Соловьева, а какого-нибудь популярнаго профессора эпигона.

Л. Андреевъ не былъ эпигономъ, онъ былъ крупнымъ талантомъ; темы онъ захватывалъ широкія, не имѣя силъ ихъ углубить. Но именно въ этомъ широкомъ и поверхностномъ захватѣ была причина величайшей его популярности въ тѣ самые годы, когда не признанный символизмъ былъ понятъ и признанъ лишь немногими Въ поэзіи „genus dicendi Asianum“ В. Иванова и „genus

dicendi Atticum“ А. Блока равно были недоступны широкой публикѣ (не говоря уже о „genus dicendi Rhodium“ труднаго по „содержанію“ А. Бѣлаго); легкій и наглядный „аллегоризмъ“ Л. Андреева покорилъ сразу всѣхъ. Тѣмъ болѣе, что въ этой легкой формѣ были созданы имъ такія талантливыя и неожиданныя произведенія, какъ „Жизнь Человѣка“.

Прежній Л. Андреевъ, авторъ прекраснаго разсказа „Жили были“, сразу былъ забытъ, и что главное, сразу забылъ самъ себя. Новый Л. Андреевъ сталъ, казалось ему, углублять новонайденную манеру въ рядѣ все менѣе и менѣе удачныхъ произведеній — „Къ звѣздамъ“, „Царь-Голодъ“, „Черныя Маски“, „Океанъ“. Сильный „Савва“, подлинный „Разсказъ о семи повѣшенныхъ“ показывали въ то же время, какой большой талантъ данъ этомуне нашедшему себя „властителю думъ“ девятисотыхъ годовъ. „Что за талантъ у этого человѣка, и что за топоръ его талантъ“ — эти слова Бѣлинскаго о Некрасовѣ невольно вспоминались въ приложеніи къ Л. Андрееву.

Большой топорный талантъ, талантъ глубоко „не культурный“, особенно выдѣлялся въ сравненіи съ утонченными, изостренными наслѣдниками декадентовъ, символистами, прошедшими черезъ всю европейскую культурную выучку и сумѣвшими соединить съ ней свою „русскую“ глубину. „Кризисъ индивидуализма“ — провозгласили они; Л. Андреевъ въ творчествѣ своемъ безсознательно противопоставилъ имъ утвержденіе индивидуализма, самоцѣльной человѣческой личности, но утвержденіе это строилось у него не на твердомъ основаніи, а на нутряной „философіи“, на внутреннемъ чувствѣ. И онъ выходилъ побѣдителемъ, если не запутывался въ мертвыхъ схемахъ аллегоризма, если „нутро“ и чувство не замораживалъ вымученною формой. Оттого такъ часты у него срывы и паденія и вновь подъемы, вновь возстанія. Такъ было съ самаго начала его творческой дѣятельности. „Большой шлемъ“ — и рядомъ „Ложь“ (1900 г.), „Жили-были“ и „Стѣна“ (1901 г.), „Призраки“ — и „Красный смѣхъ“ (1904 г.), „Губернаторъ“ - и „Къ звѣздамъ“ (1905 г.), „Савва“, „Елеазаръ“, „Жизнь Человѣка“, „Іуда Искаріотъ“ — и „Царь-Голодъ“, „Тьма“, „Черныя Маски“ (1906—1908). И такъ идетъ эта перемежающаяся лихорадка достиженій и паденій до самыхъ послѣднихъ его произведеній.

И все же для девятисотыхъ годовъ значеніе Л. Андреева было велико, какъ значеніе М. Горькаго для годовъ девяностыхъ и Чехова—для восьмидесятыхъ. Философско-этическія темы, подъ тяжестью которыхъ часто надрывался его доморощенный талантъ, были въ художественной литературѣ проявленіемъ темъ, одновременно затронутыхъ „нео-идеалистами“; и здѣсь и тамъ былъ возвратъ къ проблемамъ Достоевскаго, къ основной изъ нихъ—проблемѣ этическаго индивидуализма. Успѣхъ Л. Андреева послѣ десятилѣтія царства марксизма былъ въ этомъ отношеніи и показателенъ, и знаменателенъ. А успѣхъ „аллегоризма“ знаменовалъ собою кромѣ того и побѣду символизма, недоступнаго въ своей чистой формѣ для широкихъ массъ. Символизмъ ad usum delphini - въ этомъ была опасность для символизма, и она не преминула въ ближайшіе же годы повести къ его вульгаризаціи, упрощенію, уплощенію и разложенію. О разложеніи этомъ—рѣчь впереди; сперва еще нѣсколько словъ о представителяхъ художественнаго *реализма* въ эти же девятисотые годы.

IX.

Старый реализмъ заблудился и погибъ въ тупикѣ натурализма; новый реализмъ родился, перейдя черезъ пустыню того самаго декадентства, изъ котораго вышелъ и символизмъ.

Старый реализмъ не сдался безъ боя. Несмотря на почти полное художественное безлюдье въ своемъ станѣ послѣ эпохи общественнаго мѣщанства, онъ еще пробовалъ обновиться, опираясь на достиженія Чехова. Единственной крупной его силой въ девяностыхъ годахъ былъ М. Горькій, но онъ былъ слишкомъ „самъ по себѣ“ и, несмотря на рядъ подражателей, ему не привелось имѣть продолжателей. Продолжатели же Чехова, въ родѣ четкаго и холоднаго И. Бунина, или теплаго и расплывчатаго „импрессіониста“ Б. Зайцева, не говоря уже о второстепенныхъ дарованіяхъ, въ родѣ А. Куприна, не могли влить новое вино въ старые, расползавшіеся мѣха: задача была не по силамъ.

Путь выработки формъ новаго реализма лежалъ черезъ все то же „декадентство“, и недаромъ отдавали часто дань послѣднему новыя вступавшія въ литературу

силы (Сергѣевъ-Ценскій, продѣлавшій путь отъ слабаго „декадентскаго“ разсказа „Береговое“ къ сильной „реалистической“ повѣсти „Движенія“). Но подлинное обновленіе реализма было произведено силами самихъ бывшихъ „декадентовъ“, не ставшихъ „символистами“, какъ имъ ни хотѣлось бы этого. Отточенные „стилизованные“ романы В. Брюсова („Огненный ангелъ“, „Алтарь побѣды“), историческіе романы Д. Мережковскаго, особенно замѣчательный „Мелкій бѣсъ“ Ѳ. Сологуба и все мастерское творчество А. Ремизова—вотъ пути новаго реализма, вотъ вѣхи его въ выработкѣ новыхъ формъ для новаго содержанія.

В. Брюсовъ, Ѳ. Сологубъ, А. Ремизовъ долго считались „символистами“, не имѣя никакихъ духовныхъ „правъ на символизмъ“. По прежнему я говорю здѣсь, конечно, о символизмѣ не какъ о принципѣ творчества, но какъ о философіи міра, религіи жизни, психологіи духа. В. Брюсовъ искренно—мы видѣли—призналъ свою отчужденность отъ символизма, какъ міровоспріятія; реалистическій „парнассецъ“, онъ разработалъ въ прозѣ манеру стилизованнаго романа (начало положилъ еще Тургеневъ блестящею своею „Пѣснью торжествующей любви“). Ѳ. Сологубъ, вѣчный „декадентъ“ по духу, отточилъ новыя формы романа, показавъ, что романъ „бытовой“ (ибо весь „Мелкій бѣсъ“, весь Передоновъ—типичный „бытъ“) есть въ то же время романъ „міровой“. Въ этомъ пересѣченіи быта со всемірностью не было ни зерна духовнаго символизма, но были уже мастерскія достиженія новаго реализма. Пересѣченіе бытового съ фантастическимъ въ дальнѣйшихъ романахъ Ѳ. Сологуба только расширило область этихъ достиженій, не составляя, конечно, никакого приближенія къ сущности символизма. О холодныхъ и обточенныхъ романахъ Д. Мережковскаго въ этомъ отношеніи говорить не приходится, ибо дѣло не въ словахъ о „третьемъ Завѣтѣ“, а въ безсиліи проникнуть духомъ хотя бы въ преддверье его. Но со стороны „формы и содержанія“ и эти романы давали нѣчто новое „реализму“, вышедшему изъ былого натуралистическаго тупика.

Творчество А. Ремизова особенно характерно во всѣхъ этихъ отношеніяхъ. Единственный наслѣдникъ особнякомъ стоящаго въ русской литературѣ Лѣскова (не автора растянутыхъ романовъ, но творца насыщенныхъ,

а порою и пересыщенныхъ „словомъ“ повѣстей, разсказовъ, апокрифовъ), А. Ремизовъ связалъ съ этой возрожденной имъ формой „достоевскую“ духовную боль, карамазовскіе вѣчные вопросы. Онъ прошелъ черезъ декадентство, сильно отразившееся по формѣ на первомъ его романѣ „Прудъ“, онъ дошелъ до вершины своего творчества въ „Крестовыхъ сестрахъ“, онъ далъ въ „Лимонарѣ“, въ трагедіяхъ („Бѣсовское дѣйство“, „Трагедія объ Іудѣ“, „Дѣйство о Георгіи“), въ „Отреченныхъ повѣстяхъ“, въ „Посолони“—образцы новыхъ реалистическихъ формъ, уходящихъ корнями въ глубь народного слова и древней „книжной мудрости“. Но мистическія достиженія былого „Добротолюбія“ чужды его духу, „права на символизмъ“ у него нѣтъ, какъ этого ему ни хотѣлось бы; „безуміе“ подлиннаго символизма для него, невѣрующаго, есть лишь тема; церковь, православіе, бытъ для него лишь драгоцѣнная форма. И онъ достигаетъ величайшаго мастерства, претворяя ее въ формы словесныя; и внѣшній бытъ („Крестовыя сестры“, „Пятая язва“ и др.) онъ возводитъ до мірового. Вѣчная тема—страданіе человѣческое связываетъ его съ Достоевскимъ не менѣе, чѣмъ внѣшняя форма—съ Лѣсковымъ. Новый реализмъ достигаетъ здѣсь своихъ вершинъ и можетъ помѣряться главами съ вершинами символизма русской литературы.

Такъ въ началѣ новаго вѣка пышно расцвѣтаетъ поэзія и проза новаго, послѣ-толстовскаго періода. Эпигоны прежнихъ формъ—И. Бунинъ, П. Якубовичъ и др. далеко отстаютъ, отмираютъ, отцвѣтаютъ. Новыя силы рождаются и пользуются всѣми завоеваніями старшихъ собратій (М. Пришвинъ, А. Толстой 2-ой и др.) Всяческое „александрійство“—впереди, но вершины и новаго романтизма и новаго реализма прочно достигнуты, завоеваны; расцвѣтъ русской поэзіи, расцвѣтъ художественнаго творчества во всѣхъ областяхъ знаменуетъ собою первыя десятилѣтія XX вѣка. И послѣ нигилистическаго декадентства, послѣ „кризиса индивидуализма“—снова побѣждаетъ исконная въ русской литературѣ мысль, исконное чувство—о самоцѣнности человѣческой личности, о тернистыхъ путяхъ ея въ вѣчной борьбѣ съ мѣщанствомъ духа, мѣщанствомъ жизни.

X.

Новый романтизмъ, новый реализмъ—побѣдили. А такъ какъ „реалисты“ этой группы долго смѣшивались (и смѣшиваются) съ подлинными „символистами“, то говорили вообще о „побѣдѣ символизма“, побѣдѣ новаго теченія, вышедшаго изъ декадентства и преодолѣвшаго его.

„Побѣда символизма“. Но тутъ же надо прибавить: „и разложеніе его“. Ибо очень скоро побѣда стала пораженіемъ, расцвѣтъ сталъ разложеніемъ. На завоеванныя пашни пришли стада эпигоновъ; уже въ началѣ девятисотыхъ годовъ А. Бѣлому пришлось сражаться съ „обозной сволочью“ (его слова) декадентства и символизма. Начиналось „александрійство“: внѣшнее мастерство и искусство безъ духа жива, изящность безъ одушевленія, эстетство и дэндизмъ безъ горѣнія, машинное стилизаторство безъ страданія, безъ ненависти, безъ любви. Впослѣдствіи дикій и намѣренно косноязычный „футуризмъ“ сталъ реакціей противъ этихъ омертвѣвшихъ формъ, а потомъ и вообще всякихъ „старыхъ“ формъ (иной же разъ—новой, болѣе утонченной въ своей грубости формой того же самаго „александрійства“).

Побѣда и разложеніе символизма—въ этихъ словахъ исторія русской литературы полуторыхъ десятилѣтій XX вѣка; въ литературѣ, вообще въ искусствѣ, въ религіи—всюду наблюдалось одно и то же: побѣда, но цѣною вульгаризаціи, обѣднѣнія, разложенія. Послѣ взрыва 1905 года, послѣ погашеннаго пожара первой революціи, обывательскія стада валомъ повалили въ теософію; и то, что у Блаватской было духовнымъ проникновеніемъ, стало въ средѣ ея послѣдователей мѣщанскимъ уплощеніемъ. Геніальный въ узкомъ кругѣ половой мистики В. Розановъ, нашедшій самого себя въ этихъ вопросахъ еще въ послѣдніе годы XIX вѣка, а въ общественныхъ вопросахъ самый типичный обыватель-мѣщанинъ—находитъ послѣ 1905 года откликъ въ кругахъ мѣщанской бездарности, переводящей глубокіе вопросы на почву самой первобытной порнографіи. И такъ во всемъ; такъ было и съ символизмомъ. Онъ заблудился и погибъ въ тупикѣ вуль-

гарнаго эстетства, омѣщанившейся мистики, духовнаго стилизаторства. Одинокія вершины высоко поднялись надъ этимъ болотомъ мѣщанскаго символизма; болото разлилось по всему стану побѣдителей.

Котелъ революціи 1905 года переработалъ былыхъ символистовъ въ общественниковъ, былыхъ общественниковъ—въ псевдо символистовъ. Промежуточные годы между первой и второй русской революціей были эпохой этой побѣды символизма и его разложенія; и эта побѣда, это разложеніе завершаютъ собою кругъ русской литературы XIX вѣка. По двумъ вѣчнымъ путямъ реализма и романтизма шла русская литература всѣ эти сто лѣтъ—и эти же пути ведутъ ее и дальше, въ невѣдомую глубь XX вѣка, ибо иныхъ путей нѣтъ у духа человѣческаго, есть лишь разныя формы проявленія вѣчныхъ и неизмѣнныхъ сущностей.

„Реалистическій“ пушкинскій періодъ былъ изжитъ въ художественной литературѣ къ девяностымъ годамъ минувшаго вѣка; „романтическій“ періодъ символизма въ послѣдующую четверть вѣка продѣлалъ тотъ же путь и исчерпалъ себя. Отъ высшихъ достиженій новаго символизма, отъ Андрея Бѣлаго—протягивается вдаль путь людей „романтическаго“ міровоспріятія и творчества; отъ высшей точки новаго реализма, отъ „Мелкаго бѣса“, отъ повѣстей А. Ремизова—идетъ творческая линія людей міровоспріятія „реалистическаго“. Впереди—новыя исканія, новыя достиженія по вѣчнымъ путямъ; новыя силы выходятъ съ новыми словами на эти пути. Первый большой народный поэтъ, Н. Клюевъ, подлинно „имѣющій право“ на символизмъ, появляется въ годы первой русской революціи; десятилѣтіемъ позднѣе, къ годамъ второй революціи, выступаетъ второй подлинный народный поэтъ, С. Есенинъ, „реалистическій“ путь котораго еще много обѣщаетъ въ будущемъ. Но все это—темы уже будущаго развитія русской литературы; ея кругъ XIX вѣка уже завершенъ; его завершило—четверть вѣка борьбы, побѣды, торжества и разложенія символизма.

КНИГИ ИВАНОВА-РАЗУМНИКА:

1. **История русской общественной мысли.** — Изд. 5-ое, в восьми частях. 1918 г.
2. **Об интеллигенции.**—1907—1908 г. 2-ое изд.
3. **О смысле жизни.**—1908 г.; 2-ое изд. 1910 г.
4. **Литература и общественность.** — Статьи публицистическия.—1910 г.; 2-ое изд.—1912 г.
5. **Творчество и критика.** — Статьи критическия. — 1912 г.
6. **Великия искания.**—1912 г.
7. **Лев Толстой.**—1913 г.
8. **Пушкин и Белинский.**—Статьи историко-литературныя.—1916 г.
9. **Год революции.**—Сборник статей.—1918 г.
10. **Александр Блок. Андрей Белый.**—Сборник статей.—1919 г.
11. **А. И. Герцен.**—Сборник статей. (*Печатается*).

Цена 26 руб.

Склад издания в магазинах Т-ва «КОЛОС»:

Петроград. Литейный, 23. | Москва. Б. Никитская, 2